

Лукавые сказы Шукшина

По учебным дневникам Ирины Александровны Жигалко и по ее же наброскам незаконченных воспоминаний можно довольно хорошо представить, чему и как учились Шукшин и его сокурсники в мастерской М. И. Ромма.

Первого сентября 1954 года была вступительная беседа мастера. Михаил Ильич Ромм вдохновенно импровизировал два часа о профессии кинорежиссера. Начал же с того, что рассказать об этой особенной профессии коротко и в то же время толково, — невозможно. На то, чтобы осмыслить как следует эту профессию, уходят годы и годы. Порой для этого не хватает целой жизни... А на другой день «выступали», показывали себя уже первокурсники — читали рассказы, стихи и басни по своему выбору. Шукшин прочитал рассказ Максима Горького «Двадцать шесть и одна». «Прочитал хорошо, — отмечает И. Жигалко, — но некоторые читали лучше». А уже четвертого сентября первокурсники должны были показывать «самостоятельно придуманные этюды на прошедшие действия с воображаемыми предметами».

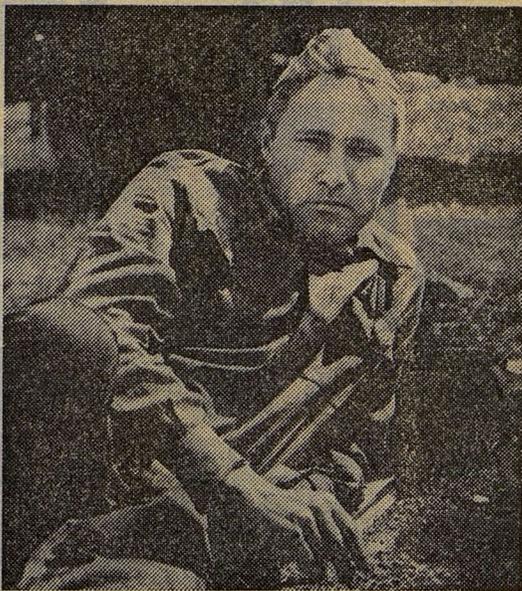
Одним из последних вышел Шукшин. Вышел не спеша, потрогал «траву» — и было ясно, что это именно трава, которую пора косить, — огляделся вокруг (бескрайнее поле), отбил косу. И пошел «косить». Не спеша, но споро. Где-то подчистил огрехи — коса зацепила бугорок. Приподнял ее, внимательно осмотрел. Решил, что ничего еще, работать вполне можно. Еще «покосил». Остановился. Вытер «обильный пот» со лба. Вдохнул. Присел на «травку». Медленно достал воображаемый кисет, важно свернул «самокрутку». Затянулся всласть, выпустил дым «облачным колечком». Потянулся, подпрыгнул козлом. Еще раз взглянул мечтательно окрест... «Ах, какое росистое, какое прекрасное утро!» И не только для «косца», но и для аудитории запахло в этот миг травой, сладкими испарениями близкой реки...

«Позднее, — заключает ассистентка Ромма, — мы видели Шукшина в фильмах (а именно в «Печках-лавочках»), срезающего настоящей косой настоящую траву. Но то, что мы видели задолго до того, в этом учебном этюде с воображаемым предметом, накрепко запало в память. И не только в мою...».

«На спянской «площадке» второго курса, — вспоминает И. Жигалко, — он играл Старика в рассказе А. Серафимовича «У обрыва». Рассказ произвел на Шукшина сильное впечатление. Я лично знала Серафимовича (еще в студенческие годы подружилась с его семьей). Василий настойчиво допрашивал: каким Серафимович был в жизни, как слушал (слушать собеседника Серафимович умел превосходно), как говорил? Очень интересовала Шукшина драматическая история рассказа, написанного в разгар революции 1905—1907 годов; интересовали Шукшина и географические подробности (в частности, на какой большой реке происходит описываемые в рассказе события). Но самое главное, народный характер Старика и те средства, которыми этот характер создан, — это все было внутренне близко Шукшину. Было близко прозрение высокой поэзии образа через обыденность обстановки и поведения героя. И когда после вопля отчаяния бежавшего из города от жандармов наборщика зазвучал спокойный голос Старика, немногочисленные зрители «площадки» — я не преувеличиваю — буквально замерли».

«Пробел-то у меня порядочный...» И ранее того, и после того он много раз говорил о том же — о недостаточности, о скудности своих знаний. И кажется, успел убедить в этом не только себя, но и многих других. На самом же деле, и довольно ско-

Отрывок из будущей книги Владимира Коробова «Василий Шукшин», готовящейся в издательстве «Современник» в серии «Любителям российской словесности»



ро, — но не известно: заметил ли он это сам? — наступил период, когда Шукшин не только сравнивался в своих «книжных» знаниях с самыми искушенными по этой части «китами», в чьем распоряжении были блестящие «фамильные» библиотеки, но и далеко обошел и превзошел их.

Он прочитал в студенческие годы и Библию, и собрания сочинений Толстого, Достоевского, Чехова, Глеба и Николая Успенских, Решетникова, Горбунова, Лескова, Горького и многих-многих других.

Прочитал? Нет, правильнее будет сказать — и изучил. Настолько внимательно, что, как далее мы покажем, некоторые эпизоды, некоторые образы русских классиков, помимо его воли, неосознанно перешли в качестве невольных литературных реминисценций в его собственные произведения.

Ничто не ускользало от его взора, все вызывало пристальное внимание, изучалось, обдумывалось, осмыслялось.

* * *

«До третьих петухов» — выступление полемическое. Шукшин откровенно полемизирует и с прежними, и с новыми своими критиками. Шукшин говорит «свое слово» в диспуте о типологии и судьбе народного характера.

Об этой повести-сказке (впрочем, вряд ли это произведение можно уложить в привычные рамки какого-нибудь жанра) трудно говорить однозначно. Ясно, что вещь эта очень своеобразная, именно шукшинская, и сатирическая. Видно и другое: в ней начался новый, не очень-то привычный и знакомый Шукшину. Куда же и к чему шел художник?

Если иметь в виду лишь одну особенность творческого развития Шукшина — усиление сатирического направления, он продолжал с блестящим художественным мастерством осуществлять то, к чему и стремился все эти годы и что с такой мудрой простотой подмечено в теоретических размышлениях о сатире другим большим русским художником — Андреем Платоновым: «Забавность, смехотворность, потеха сами по себе не могут являться смыслом сатирического произведения: нужна еще исторически истинная мысль и, скажем прямо, просвечивание идеала или намерения сатирика сквозь кажущуюся суету анекдотических пустяков».

В статье «Монолог на лестнице» Василий Шукшин

публицистически страстно негодовал: «Ничего так не пугает, не удивляет в человеке, как его странная способность разучить несколько несложных житейских приемов (лучше — модных), приспособить разум и руки передвигать несколько рычажков в огромной машине Жизни — и все, баста. И доволен. И еще похлопывает по плечу того, кто пока не разучил этих приемов (или не захотел разучить), и говорит снисходительно: «Ну что, Ваня?»

Против такой вот «странной способности» — пренебрежительного, бездумного отношения к жизни и направлена повесть-сказка «До третьих петухов». Кто же, как не мешане-потребители, нравственные уродцы — и молоденькая библиотекарша, и секретарша Милка, так варварски коверкающие прекрасный и могучий русский язык! А вся компания Алки-Несмеяны? А черти?.. Не в бровь, а в глаз бьет художник, когда показывает во всей «красе» духовное их ничтожество, нигилизм, высмеивает их культ вещей, низкопоклонство перед «модерном», западной поп-культурой. И совсем ведь не в шутку, а сурово, гневно и в то же время горестно звучат слова Ивана, обращенные к секретарше Мудреца Милке: «...ты решила, что я — шуг гороховый. Что я — так себе, Ванек в лапоточках... Тупой, как ты говоришь. Так вот знай: я мудрее всех вас... глубже, народнее. Я выражаю чаяния, а вы что выражаете? Ни хрена не выражаете! Сороки. Вы пустые, как... Во мне суть есть, а в вас и этого нету. Одни танцы-шманцы на уме. А ты даже говоришь толком со мной не желаешь. Я вот как осержусь, как возьму дубину!..»

У одних на уме лишь «танцы-шманцы», другие же заняты «делом». Вот Ваба-Яга с дочкой, уж как они только не хлопочут: и о «коттеджике» помышляют, и о выгодном замужестве, и о внешности своей пекутся... Этими «сказочными» образами Шукшин облачает тех, кто живет обманом, лобит, как говорят в народе, чужими руками жар загребать. Лицемерие таких «литературных героев» не имеет пределов, каждый раз в зависимости от обстоятельств напяливают они на себя новые и новые маски (вспомним все злоключения Ивана в избе Бабы-Яги).

Не имеют пределов и ханжество их, и жестокость. Эти черты олицетворяет в повести Змей Горыныч. Нет, не так прост он, как кажется. Этот персонаж не прочь поиграть в этакое «душечку», добренького и отзывчивого «ценителя искусств», мецената и даже слезу может пустить при случае. У него и, с позволения сказать, «философия» своя имеется. Вот, скажем, какое художественное произведение ему угодить может? Только такое, в котором тишь да гладь да конец непременно «счастливым». А что не так, то «дурная эстетика». И попробуй поспорь с ним, начини доказывать, что из песни слова не выкинешь, — враз зубы покажет, мерзкую свою пасть разинет.

Но, пожалуй, пострашней Змея будет Мудрец. Горыныч, как ни старайся, образину свою скрыть не может, из-за этого его даже «свои» — Яга с дочерью — боятся. Мудрец же — благообразен, в обращении обходителен, сердитая, ножками топает и то не без изящества. Тем труднее разглядеть истинное его лицо. Впрочем, некоторые черты этого героя должны нам быть знакомы по произведениям классиков, ибо образ этот типический и даже нарицательный, Шукшин же привнес в него нечто свое, особенное.

Этот персонаж — Мудрец (хочется написать — делец или «для рифмы» — подлец) не от чего-нибудь, а от науки или искусства, так сказать, «теоретик». Никакой он, конечно, не мудрый, но и не дурак, а напротив. Насчет своих действительных знаний он, будьте уверены, никаких иллюзий не питает. Но боже его избавь признаться в этом. Мудрец

настолько привык пускать пыль в глаза, витийствовать, употреблять словечки и обороты вроде «вульгартеория», «моторная и тормозная функции», что делает это, наверное, и тогда, когда остается наедине с самим собой. Ну а как же! Иначе все увидят, что король-то голый.

Живется ему легко и уютно, совесть не мучит, атрофировалась за пенадобностью, а интересы давно сосредоточились на чревоугодничестве и сладострастии. Но все бы ладно, если б не зависело от него ничего. Ан нет. Какая-никакая, а он все же инстанция (даже с печатью), и дела есть, которые решать надо. Но до них ли, когда Алка-Несмеяна губки надула. Работа не волк, пусть себе сама делается, неважно, что вкривь и вкось, на то он и Мудрец, что при любом обороте «базу» подвести может. А если в упор кто спросит, как Иван, по простоте своей и невоспитанности, то на безмерную занятость можно посоветовать: мол, устаю, голубчик, дурья твоя голова, а дела-то во-о-н какие непростые. Мудрец-мешанин в высшей степени, он загнил в своем паразитизме дальше некуда — смрад.

...«До третьих петухов» создавалась на Дону, в перерывах между съемками фильма «Они сражались за Родину» (по роману Шолохова), а больше — по ночам, в маленькой каюте теплохода «Дунай», пришвартованного к донскому берегу и заменявшего собой гостиницу. Работа над сказкой шла то быстрее, то медленнее, но почти вся на глазах Георгия Буркова; потому-то мы и можем назвать сейчас некоторые ее основные, так сказать, устные этапы, ибо Шукшин сначала проговаривал Буркову предполагаемые моменты, а лишь потом записывал, но и то — устный рассказ был шире письменного, кое-что из придуманного Василием Макаровичем решительно потом отбрасывалось. Так, вначале было задумано, что в сказке будут действовать не один, а сразу три Ивана-дурака — из разных времен: древний, фольклорный, из девятнадцатого века и современный Иван-дурак уж как-то чересчур, играючи, «забывает» двух остальных, и Шукшин оставляет только его одного. Работа пошла быстро, но потом вновь затормозилась, пока не был найден образ Мудреца (Поначалу на месте Мудреца предполагался Летописец — герой не сатирический, мудрый без кавычек). Написав очередную сцену, Шукшин приходил в каюту к Буркову, но чтение всякий раз начинал с первой странички — ему важно было почувствовать, как согласуется со всей вещью, как входит в целое только что написанный эпизод. Песни, которые есть в сказке, он не прочитывал, а пропевал, и делал это так пронзительно, что не раз, а всякий раз после сцены, в которой Иван поет Горынычу «Хаз Булата», на глаза им обоим наворачивались слезы... Но много и смеялись — весело, взахлеб: ведь при всем том шукшинская сказка — вещь еще и лукавая. Есть в ней и своеобразное озорство таланта.

Можно указать и на духовную близость, определенную родственность творческих интересов Шукшина и Буркова, и все это будет верно, но... высокая человеческая дружба, как настоящая любовь, как дар таланта. Она редка, как счастье, и столь же трудно объяснима обычными понятиями и словами. Люди тянутся друг к другу, им хорошо вместе, вот и все. В подлинной человеческой дружбе и любви всегда присутствует что-то необъяснимое и неуловимое, которое чувствуется и бережется обоими: если все сохранится, а неуловимое исчезнет, исчезнет и дружба, останутся только «отношения»... Буркову же посчастливилось вдвойне: он стал другом Шукшина в самый исповедальный, самый «выверительный» период жизни Василия Макаровича.

Владимир КОРОБОВ.